

Полное издание

Евдокия Напродская



Обольщение  
Тисо Диониси

# Евдокия Аполлоновна Нагродская Обольщение. Гнев Диониса

*издательский текст*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=139584](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=139584)*

*Обольщение. Гнев Диониса: FunBook, Гелеос,; Москва; 2008*

*ISBN 978-5-8189-1225-7*

## Аннотация

Юные и неискушенные всегда привлекали опытных и развращенных. На их девственность и чистую красоту слетались, словно пчелы на мед, похотливые мужчины и страстные женщины. И вступая в этот порочный мир, невинные красавицы познавали высоты любви и низость разврата. Многие известные писатели воспевали сексуальное взросление юных дев. Но лишь отдельные из этих романов публиковались без купюр. Вам впервые предлагается серия книг, где жизнь показана во всей полноте. Эти романы, прежде запрещавшиеся к изданию, многократно подвергнутые цензуре, только теперь восстановлены из рукописей, чудом сохранившихся в архивах.

Татьяна Александровна, художница, вдова, холодноватая красавица и умница 28 лет, едет на Кавказ знакомиться с родными своего гражданского мужа, «уравновешенного и спокойного» Ильи. В поезде Татьяна встречает Эдгара Старка – экзотической красоты циника и ловеласа, живущего в Париже. Страсть сводит их с ума. Первая для обоих. Для

обоих совершенно неожиданная. Непредсказуемо и развитие отношений. Мучительных, запутанных, бесстыдных, отчаянных «до бешенства, до безумия»...

# Евдокия Нагородская

## Обольщение

### *Гнев Диониса*

День такой солнечный, веселый, а настроение отвратительное. Досадно, что я, никогда не болевшая, не лечившаяся, вот сегодня, сейчас, должна ехать на Кавказ, чтобы поправить здоровье. Терпеть не могу Кавказа. Везде лихорадка, а где ее нет – нет зелени и воды. Природа! Да чтобы полюбоваться красивым видом, сколько мук и неудобств натерпишься. Это не то что в Швейцарии: хочу диких гор, вывороченных скал – вот тебе. Хочу улыбающихся долин! Хочу озер, рек! – все есть. А тут как заладит однообразие, так на десятки верст, а еще эти десятки верст едешь по скверной дороге и все время думаешь, как бы не убили или не ограбили. А на травке фаланги, скорпионы...

Ни за что бы не поехала, если бы не это проклятое воспаление легких. Доктор решительно гонит на юг. Юг есть и в Европе, он и удобнее, и дешевле, ох как дешевле, но, видите ли, там я буду одна, а тут...

Это я еду познакомиться с семейством моего будущего мужа.

Я прожила с Ильей пять лет душа в душу. Мы не могли с ним повенчаться только потому, что его первая жена, с ко-

торой он расстался лет за восемь до знакомства со мной, не давала ему развода. Теперь она выходит замуж. Они разведутся, и осенью я стану его законной женой. Это обязывает меня познакомиться с его родными.

Мать, две сестры, младший брат. Надо со всеми поладить, всем понравиться. Конечно, не для меня: мне все равно, но Илья их так любит. Как он страдал эти пять лет, что не мог соединить нас, а теперь я еду к ним в качестве его невесты. Я буду в семье. За мной будет уход. Это его слова.

Постараюсь, постараюсь. Я умею нравиться людям, когда захочу, а я очень хочу, потому что это приятно Илье; он их так любит, а они на него молятся.

Хоть бы они мне понравились, тогда легче будет завоевывать «неприятельскую крепость». Я ведь отлично понимаю, что это именно «неприятельская крепость». Мое существование сначала игнорировали, потом, верно, под влиянием писем Ильи и его поездки к ним в прошлом году стали появляться официальные приветы и пожелания.

Сестер я не боюсь. Но мать... Она знает наши отношения. Я вдова, художница – значит, принадлежу к богеме. Между смертью моего мужа и знакомством с Ильей был период в три года, которые для нее темны, и любящая мать может населить его домыслами. Матери ревнивы.

Все это минусы, минусы.

Она любит Илью, как ребенка, и гордится им, как светиллом, восходящим в науке. Почем знать, не лелеяла ли она

мечты приехать к нему в Петербург, нянчиться с сыном и греться в лучах его славы? И я отняла у нее это.

Когда он женился в первый раз, четырнадцать лет назад, еще студентом, она, верно, не так волновалась. Его женой стала дочь ее хороших знакомых, восемнадцатилетняя институтка, с приданным... А что из этого вышло? Разошлись через два года! Хорошо, что детей не было, а то Илья и до сих пор терпел бы. А я...

– Таня, родная, тебе нездоровится? – спрашивает Илья, наклоняясь ко мне.

Я вижу его красивое лицо, ласковые серые глаза, развевающуюся золотую бороду, смеюсь и отвечаю:

– Нет, Зигфрид!

Зигфридом я его называю с тех пор, как одна из его поклонниц – среди учащихся у него много поклонниц – уверяла меня, что у Ильи наружность героя скандинавской саги.

Наружность его многим нравится. Его высокая атлетическая фигура всегда выделяется в толпе. О, в него можно влюбиться! В такого умного, талантливого, сильного!

Я его люблю, люблю. Кажется, никогда в жизни я так не любила, но отчего у меня нет той страсти, в которой исповедуется мне такое множество женщин?

– Вы этого не понимаете, вы такая чистая, бесстрастная, – сказала мне одна из моих приятельниц.

Не знаю, чистая ли я. Ведь когда говорят о разных видах разврата, я не прихожу в ужас, не чувствую даже особенного

отвращения. Конечно, если разврат не затрагивает детей, за детей я не могу придумать и казни. Но когда двое взрослых наслаждаются, как им кажется лучше, какое мне дело? Мне этого не нужно, мне лично это не нравится. Вот не буду я есть испорченных рябчиков, но не осужу человека, который их смакует, и удивляться не буду. Я сама ем только гнилые бананы, ем с удовольствием, иногда даже во вред желудку, и грехом это не считаю...

– Да о чем ты все задумываешься, Таня? – спрашивает Илья.

– Жаль с тобой расставаться, – отвечаю я и вдруг ясно понимаю, что действительно мне мучительно тяжело расставаться с ним. Я прижимаюсь к Илье и чуть не плачу.

Он гладит мою руку, шутит, но я чувствую, что он взволнован.

– Надеюсь, тебе будет удобно. Проводник сказал, что в этом купе только один пассажир, да и тот уйдет на ночь в литерный вагон. Ты будешь одна, – говорит Илья.

Я смотрю на соседнее сиденье. Совершенно такой же чемодан, как мой, из коричневой кожи, изящный несессер, серое пальто и фотокамера на ремне.

– Илья! – восклицаю я в отчаянии. – Ах я разиня, камеру-то уложила в багаж!

– Это потому, что у тебя совершенно мужское отвращение к ручному багажу, – смеется Илья.

Второй звонок. Сердце мое сжимается.

– Прощай, Илюша! Пиши, – я со слезами прижимаюсь к нему.

– Голубушка, берегись ради бога. Телеграфируй из Москвы и, если устанешь, переночуй.

Третий звонок. Я высовываюсь в окно, киваю. Илья идет по платформе.

– Из Москвы, Ростова, Новороссийска телеграммы. Открытки каждый день. Пожалуйста, берегись, Танюша.

Он понемногу отстает, платформа кончилась, а я все стою у окна. Скверное настроение охватывает меня все больше и больше. В висках стучит – еще недоставало, чтобы невралгия сделалась! Я поворачиваюсь и вижу: в дверях стоит владелец вещей, лежащих на соседнем месте. Он притрагивается к шляпе, я киваю в ответ и решаю, что это иностранец.

Первую минуту в вагоне мне всегда не по себе и даже не хочется устроиться поудобнее. Я смотрю в окно на мелькающие «остатки» столицы – фабричные трубы, заборы, станционные здания и злюсь: у меня всякое волнение и огорчение переходит в злость. Ведь я и плачу-то только от злости да еще от умиления, как это ни странно.

Если такое мое настроение продолжится до самого прибытия к милым родственникам, то прощай, мои стратегические планы, я не сумею внушить симпатию. Лицо мое делается ужасно злое в такие минуты. Даже Илья говорит:

– Танюша, какая ты сейчас некрасивая.

А он считает меня чуть не красавицей. Должно быть, у ме-

ня теперь ужасная физиономия, хорошо, что никто не видит. Ах да, сосед... Я взглядываю на него. Он устроился в углу и читает книгу в желтой обложке. Зрение у меня хорошее – это Бодлер. От нечего делать я начинаю рассматривать своего спутника. Ну конечно, иностранец. Манера одеваться, причесываться – все не русское. Элегантно и просто. Лицо неправильное, но очень красивое. Прекрасный лоб с выдающейся линией густых бархатных, слегка сходящихся бровей, прямой, тупой, даже как будто немного вздернутый нос, рот нежный, нижняя губа чуть короче, а подбородок широкий и сильно выдающийся. Какие удивительные ресницы! Глаза опущены, но они, верно, хороши. Жаль, что нет камеры – можно было незаметно щелкнуть. Такое лицо пригодилось бы для картины.

Сколько же ему лет? Эти гладковыбритые лица обманчивы, но, наверное, не меньше тридцати. В юности на щеках были ямочки. Около глаз легкие морщинки... Наверное, тридцать, а впрочем, может быть, сильно пожил малый.

Экая гущина волос, гладко причесанных и разделенных сбоку ровным пробором. Надо лбом одна прядь лежит немного выше. Волосы черные с красноватым отливом и ужасно блестящие – напмадился. Воображаю, сколько пыли насядет на них за дорогу.

Переменив положение, закинул ногу на ногу, фигура очень стройная, изящная – совсем юношеская, но рост невысокий. Он моему Зигфриду не достанет, пожалуй, до плеча.

Нет, достанет – он кажется немножко выше меня. Какой он может быть национальности? Я бы сказала – южный француз или северный испанец.

Поезд останавливается. Мой спутник взглядывает в окно, потом на меня, быстро меняет позу и говорит:

– Pardon, madame!

– Не стесняйтесь, пожалуйста, – говорю я по-французски. – Если вы будете стесняться, я не буду чувствовать себя свободно.

«Ну и глаза, – думаю я, – черные, глубокие, огромные».

– Я вижу, – продолжаю я, улыбаясь, – что вам хочется лечь. Ложитесь, курите, если вы курите, и давайте не замечать друг друга.

Он благодарит и улыбается. Какие красивые и немного крупные зубы. При улыбке заметны ямки на щеках. Ну улыбнись-ка еще – у тебя это красиво выходит. Но он не улыбается, берет своего Бодлера и усаживается поглубже.

Я опять смотрю в окно и опять начинаю думать о своей миссии. Илья не высказывался, но, очевидно, ему страшно хочется, чтобы я понравилась им.

Я могла составить себе очень туманное понятие об этом семействе по рассказам Ильи и их письмам к нему. Мать овдовела, когда Илья заканчивал университет. Их было что-то восемь или девять человек, средние дети умерли, и осталось двое старших – Илья и Катя – и двое младших. Мать не имела других средств, кроме крошечной пенсии и дома с садом.

Чтобы поднять на ноги младших, они с Катей открыли пригостительный пансион для девочек. Старшая сестра совершенно отдалась этому пансиону. Ей уже двадцать восемь лет, младшей восемнадцать. Илья говорит, что это милая, жизнерадостная девушка-ребенок. Брат, кончающий гимназию, годом моложе – ну, этот не в счет. Что тут делать, чтобы понравиться им всем? Чем их возьмешь? Может, моим художественным талантом?..

Господи, как болит висок... Но мой художественный талант ничего не сделает. Очевидно, им нравятся только тенденциозные сюжеты: умирающая мать, важная барыня, из коляски подающая милостыню оборванной женщине с желто-зелеными детьми. В таких случаях дети всегда вер-веронез, светлая охра и цинковые белила. Исполнения, изящества колорита они не поймут. Наверное, и мать, и дочери говорят фразами из толстых умеренно-либеральных журналов о педагогике, о труде – и все в назидательном тоне. Нет, я, кажется, начинаю их ненавидеть.

Не поеду к ним! Останусь в Москве и вернусь назад. Вот у меня бок болит, висок дергает все сильнее и сильнее. Лучше бы я поехала в Рим. Хотя там летом пропадешь от жары, но ведь меня посылают на юг! В Риме у меня прохладная, чудная мастерская. Осенью все равно поеду туда заканчивать большую картину, начатую в прошлом году. Поехала бы теперь – и юг бы был, и картину дописала, и осенью никуда бы не поехала от Илюши!

– Красивы ли твои сестры? – спросила я его однажды – по карточкам захолустного фотографа трудно было судить.

– Знаешь, – отвечал он, – я их так люблю, что оне для меня лучше всех, кроме тебя.

Ну значит, уроды! А я так люблю все красивое, изящное.

Я живу будничной жизнью, но у меня есть мое искусство. В нем нет будней, в нем все блеск, все праздник. Оно мне и там поможет: буду писать этюды моря и цветущих деревьев... А «оне» будут заглядывать на полотно и говорить:

– Что это вы все пейзажики да цветочки рисуете? Тогда я им напишу порку в волостном правлении, этюд трех тулупов и пары валенок! Ведь у них... Фу, я опять злюсь! Зачем я несправедлива? «Оне», может быть, умные, милые, добрые... Как дергает висок... не надо думать... ай, как больно, как больно!

– Madame souffre?

Я вздрагиваю. Мой спутник опустил Бодлера и, слегка наклонившись, смотрит на меня.

Господи, да что у него за глаза, какой красивый разрез! В этих глазах что-то вроде детского удивления. Так часто смотрят умные дети на старших, когда не понимают их.

– Невралгия, – говорю я сквозь зубы.

И вдруг меня охватывает нервная дрожь. Вот они нервы! Да хорошо, если нервы, а если это лихорадка, рецидив? Опять долгая болезнь. Нет, уж лучше умереть. Я ложусь, отворачиваюсь к стене, и меня трясет, трясет мелкой, против-

ной дрожью.

Зачем я уехала от Ильи? Я вернусь, вернусь! Пусть это глупость, ребячество, но ведь я больна, совсем больна, у меня все болит: и бок, и голова, и эта дрожь, дрожь.

Мысли мои путаются, я быстро сажусь и хватаюсь за голову. На мне шляпа, я забыла ее снять, она мешает, я хочу сорвать ее, но шпильки зацепились за волосы.

– Позвольте вам помочь. Я чувствую руку в шведской перчатке на моей руке. Он отцепляет шляпу и кладет ее на полку, а меня трясет все сильнее, мне хочется крикнуть, расплакаться. Слабость, разлука с Ильей, неприятная перспектива подлаживания к тем людям... Вот-вот сейчас разрыдаюсь. И чего этот господин тут? Если бы его не было, одна бы я скорее успокоилась. Его присутствие в эту минуту мучительно. Этот запах духов и хорошей сигары вдруг ударил в голову... Момент – я бы оттолкнула его, но он заговорил:

– Вы совсем больны. Не могу ли я чем-нибудь помочь вам?

Я делаю над собой страшное усилие, сжимаюсь в комок, зубы мои стучат.

– Вам надо выпить воды. Не правда ли? Я сейчас скажу проводнику.

– Да, да, – едва могу я выговорить и еще больше сжимаюсь, точно все вокруг меня рушится.

Я борюсь сама с собой, чтобы не допустить себя до нервного припадка. Справилась-таки! Я поднимаю голову. Пере-

до мной проводник со стаканом воды. Я жадно пью.

– Вот гадость-то, теплая, вонючая! – восклицаю я, и вдруг мне делается смешно при взгляде на оторопелого проводника.

– Ради бога простите, – обращаюсь я к моему спутнику, – я вас побеспокоила.

– О, это пустяки, – улыбается он. – Вы, кажется, отравили барыню своей водой. Нет ли у вас сельтерской? Нет? На станции принесите, пожалуйста.

По-русски он говорит совершенно правильно, с едва заметным акцентом, и это выходит у него ужасно мило.

– Как вы хорошо говорите по-русски! – замечаю я.

– О, мой отец англичанин, но мать русская.

– А я приняла вас за француза, даже за парижанина.

– Мои родители всегда жили во Франции, и я воспитывался в Париже. Лучше ли вам?

– Совсем хорошо, – улыбаюсь я, – только мне стыдно, что побеспокоила вас. Я только что оправилась от тяжелого воспаления легких, и теперь нервы ужасно шалят.

Я замолкаю и опять начинаю злиться. Чего разболталась? Очень нужно заводить знакомство с первым встречным.

– Не закрыть ли окно? – заботливо спрашивает он.

– О нет, спасибо. Жарко.

– Ну так пересядьте на мое место, – встает он решительно. – Тут не дует. Устраивайтесь поудобнее.

Я благодарю, и мы меняемся местами. Я вынимаю газе-

ту. У меня есть интересная книга, но она в чемодане, и мне не хочется доставать ее. Сосед, наверное, станет помогать, а мои нервы еще шалят, и каждое его движение действует на меня болезненно. «Сиди ты смирно», – думаю я и закрываюсь газетой.

Он не берется за своего Бодлера, а достает из кармана портсигар, встает и хочет идти к двери.

– Пожалуйста, курите здесь, – говорю я поспешно, – вы мне не мешаете, окно открыто, я и сама иногда курю.

Он колеблется.

– Дайте мне папироску, – прошу я, – я тоже буду курить.

– После воспаления легких? – восклицает он. Мне делается ужасно забавно смотреть на его удивление.

– Ну пожалуйста, – я совсем по-детски протягиваю руку.

– Но это вредно.

– Двум смертям не бывать, одной не миновать – знаете эту поговорку?

– Да, но есть другая русская поговорка: береженого Бог бережет, – отвечает он смеясь и протягивает мне портсигар.

Когда он улыбается, его глаза немного прищуриваются.

«А ведь у него в лице есть что-то удивительно привлекательное и помимо красоты», – думаю я и смотрю в его глаза.

Его длинные ресницы сразу опускаются под моим взглядом. Он зажигает для меня спичку, и мы опять беремся – он за книгу, а я за газету.

После дрожи мне ужасно делается жарко, лицо горит, и

голова слегка кружится.

Станция. Я выглядываю в окно и замираю от восторга! Группа на платформе. Толстый полицейский чин, важно расставивший ноги, а по бокам две кланяющиеся фигуры в длинных сибирках. У полицейского чина медно-красное лицо, усы щеткой, он важен. Правая сибирка – худая, испитая, злобная, кланяется, изгибаясь с умильной улыбкой. Левая – добродушная, вспотевшая от усердия, то топчется на месте, то почтительно замирает. Жанр! Да еще какой жанр, даже слишком типично! Господи, и у меня нет камеры!

– Могу я взять ваш «кодак»? – таким взволнованным голосом обращаюсь я к соседу, что он в испуге роняет книгу.

Я умоляюще смотрю на него.

– Конечно. Но, к несчастью, пленка кончилась. Я сейчас поищу и заложу новую.

– Нет, нет, опоздаем!

Я хватаю альбом и лихорадочно набрасываю группу карандашом. Сразу все мысли улетают, я только тороплюсь. Второй звонок! Еще, еще минуточку. Третий... Поезд трогается, но я в восторге. Исправник и две сибирки вырваны, похищены, они мои! О, как славно – успела-таки!

– Oh, madame, вы настоящая артистка, – слышу я голос, и к альбому, который я держу в руках, наклоняется лицо моего спутника. Я его вижу в профиль... и мне безумно, мучительно хочется поцеловать эту глад-ковывыбритую щеку – я даже отшатываюсь с испугом.

– Вы художница? – спрашивает он, продолжая смотреть на рисунок.

– Это мое *metier, monsieur*, – говорю я, смеясь, поспешно отхожу, оставив альбом у него в руках. Он просит его посмотреть. Я киваю головой.

Он рассматривает внимательно альбом, а я достала чемодан и роюсь в нем, ища бром. Противное лекарство, у меня всегда от него прыщи, но проклятые нервы развозились до невозможности.

– Это ваш муж, он вас провожал? – мой спутник показывает мне набросок, сделанный мной на лекции о каких-то письменах Юкатана, которую Илья читал, а я не слушала и рисовала его милое, дорогое лицо.

– Да, это мой муж.

– Какой красивый мужчина.

Мне вдруг делается досадно. Красивый мужчина – и только-то?!

– Да, – говорю я, – он не только красив, но он очень умен, а это ведь гораздо дороже в мужчине.

– О, конечно! – отвечает он, и губы его слегка трогает сдержанная улыбка.

Я опять пристально смотрю на него и думаю: если написать его лицо, какой контраст во всех чертах.

Вздернутый, тупой нос – легкомыслие, насмешливость. Такой подбородок – энергия, сила воли. Рот нежный, женский – слабость, мягкость характера... Вот сочетайте все это,

прибавьте глаза – наивные и грустные – и верьте физиономистике после этого.

– У вас удивительный талант. Вы счастливая женщина, сударыня, – говорит он мне, с поклоном возвращая альбом.

– Вы очень любезны. Не знаю, каков мой талант, но что я счастливая женщина – это верно.

Он почтительно склоняет голову:

– Приветствую счастливого человека! Это такая редкость.

Я опять злюсь, мне все мои слова кажутся ужасно глупыми, бросаю альбом на сиденье и берусь за газету.

Я силюсь понять, что читаю. Поминутно меняю положение. Мне душно и жарко. Мысли путаются. Нет, не нужно было уезжать при такой слабости. Не надо было слушаться доктора и ехать из Петербурга, не надо было слушаться своего сердца и ехать к Илюшиной семье.

Ну, не буду думать. Как приеду, засяду за работу, за этюды, напишу для Ильи семейный портрет, то-то обрадуется! Напишу ему и исправника акварелью, он любит веселый жанр. «У тебя, Танюша, есть качество, редко встречающееся в женщине, – юмор», – часто говорит мне Илья. Он смеется, что у меня много мужского в характере.

А это развилось от самостоятельной жизни, от моих занятий. Я люблю все прекрасное, но как-то не по-женски. Для меня, например, прекрасно машинное отделение какой-нибудь фабрики, у меня захватывает дух и выступают слезы умиления, когда я читаю о каком-нибудь научном открытии

или вижу талантливое техническое изобретение. Я нахожу грандиозную поэзию в математике. Отсутствие мелочности во мне переходит слегка даже в беспорядочность, а рядом с этим я люблю красивые тряпки, драгоценные камни, цветы... нет, цветы я люблю не по-женски, ухаживать я за ними не стану, а люблю украшать ими комнату и собственную особу, чтобы любоваться на них. Я люблю цветы, как красивых женщин. Я очень люблю красивых женщин, даже более чем цветы. Как много у нас красивых женщин, гораздо больше чем где-либо, а красивых мужчин я почти не видела, это ужасно бросается в глаза в многолюдных собраниях. Что за массу очаровательных женских лиц видишь на наших петербургских балах! Некоторых прямо хочется поцеловать. Мне очень часто хочется поцеловать красивое женское лицо, мужское – никогда. А сегодня? Я поднимаю глаза на моего соседа – он внимательно читает. Я тихонько беру альбом и, закрывшись газетой, быстро, украдкой черчу его наклоненное над книгой лицо.

Поезд уменьшает ход. Станция. Я быстро захопываю альбом. Мой спутник поднимается.

Я сижу в буфете и ем борщ. Вот в чем дело: я была голодна, оттого и нервничала. Сегодня я не завтракала – так расстроила меня разлука с Ильей.

Мне вдруг делается легко и весело. Я посматриваю кругом на суетящихся людей; ищу в толпе красивые и типичные лица, люблюсь на лучи заходящего солнца, падающие на ста-

каны на буфетной стойке. Какой красивый блик на лиловой блузке этой дамы у окна...

– Ну можно ли быть такой неосторожной! – говорит кто-то, и рука в серой шведской перчатке кладет рядом со мной мою сумочку.

Вот так штука! Как я могла обронить ее, выходя из вагона? Положим, деньги и паспорт у меня за корсажем, но там портмоне с мелочью, билет, багажная квитанция.

– Ах я разиня! – восклицаю я, застыв с ложкой в одной руке и куском хлеба в другой.

Смеюсь и благодарю моего спутника.

Он что-то заказывает подскочившему лакею и просит позволения сесть за мой столик. Мы болтаем весело, непринужденно. Он подсмеивается над рассеянностью дам, над моим аппетитом, говорит, что теперь не боится за мое здоровье, а то сегодня я его прямо испугала. Он снимает перчатки, я смотрю на его руки. Руки у него довольно большие, не аристократические, как говорят, но пальцы длинные, и ногти хорошо отделаны; на мизинце левой руки широкое золотое кольцо с хорошим рубином. Кто он такой? Тоже художник, музыкант или странствующий знатный иностранец? И словно в ответ на мой мысленный вопрос он шутя замечает, что ему давно пора представиться, и подает мне свою карточку, извиняясь, что карточка деловая. «Эдгар Карлович Старк. Представитель торговли деревом Оже и К°. Париж, Дижон. Марсель».

Мне смешно. А я-то решила, что он музыкант и знатный иностранец! Сама не знаю почему, я делаюсь ужасно весела, болтаю без умолку, даже делаю глазки какому-то местному армейскому офицеру, который крутит усы и бросает на меня победоносные взгляды.

Звонок. Мы спешим в вагон. Теперь мы оба болтаем беспрерывно.

Станный разговор. Мы будто торопимся узнать мнение друг друга о самых разнообразных предметах, вспоминаем эпизоды из нашего детства и наших путешествий, перескакиваем от музыки к политике, от литературы к театру. Спорим и соглашаемся, а белая ночь наступила. Я обращаю его внимание на красоту этой ночи, а он рассказывает о своем первом впечатлении от такой ночи где-то в лесу, в Норвегии, и разговор наш делается еще страннее. Это какие-то отрывки стихов, обрывки фраз, строчки из любимых авторов...

Знакомые стихи мне кажутся совсем новыми в его устах. Я удивляюсь его знанию русской литературы и его любви к ней.

Он рассказывает о своем учителе русской словесности, больном политическом эмигранте. Этот учитель имел на него огромное влияние. Талантливый, добрый человек, но страшно раздражительный. Он то швырял в него книгой и называл идиотом, то целовал его и восхищался его способностями. Этот учитель медленно умирал и умер на его руках.

Мне вдруг делается страшно грустно: белая ночь, печаль-

ный рассказ, воспоминание о том, как Илья сидел около моей постели во время моей болезни. Мне мучительно хочется видеть Илью. Я молча смотрю в эту белую ночь, на яркую Венеру в розовой полосе заката.

– Бологое! – объявляет проводник.

Я вздрагиваю и смеюсь над своим испугом. Проводник говорит моему спутнику, что место в литерном вагоне свободно, и собирает его вещи.

– Теперь вы хорошо заснете, только запрячьтесь покрепче, – говорит мне мой спутник. – Я бы все-таки посоветовал вам перейти в дамское купе.

– О, я не трусиха, – отвечаю я.

Мне хочется, чтобы он остался, но он словно торопится уйти.

– Дайте мне еще одну папиросу, – прошу я.

Он достает портсигар и останавливается. Глаза его слегка прищуриваются, улыбка чуть трогает яркие губы.

– Боюсь, – протягивает он, слегка наклоняя голову. Этот взгляд, это движение, глаза, улыбка полны какого-то чисто женского кокетства, даже не женского, а детского. Кровь сразу ударяет мне в голову.

– Как хотите, – я делаю усилие говорить весело.

– Ну попросите, попросите... как тогда, – говорит он совсем тихо.

Мне страшно не по себе, и я говорю холодно:

– А как я просила? Не помню... ну дайте, пожалуйста.

– Это не то! – делает он легкую гримасу, подавая мне портсигар. И эта гримаса, и движение головы и плеча выходят какими-то по-детски грациозными.

Я беру папиросу.

– Покойной ночи.

– Покойной ночи. – Я протягиваю руку. Он наклоняется и почтительно целует ее.

Едва заметное прикосновение к моей руке, а на меня точно выливают ушат кипятку. Слава богу, дверь закрывается – его нет...

Я машинально прижимаю свою руку к губам и жадно целую... Что, я больна? Или схожу с ума? Что это?

Еду вторые сутки. Ем, пью, беседую с очень милой дамой, везущей из Москвы в Новороссийск двух мальчиков-кадетов, слегка кокетничаю с двумя инженерами, едущими из Ростова, рисую для младшего из кадетов в его записную книжку индейцев и Натов Пинкертонов, смеюсь, болтаю, а сама все думаю об одном. Что же это в самом деле? Загипнотизировал меня, что ли, этот представитель фирмы «Оже и К°»?

В Москве я его не видела – поезд пришел рано утром, да и никогда не увижу... Так зачем все это?

Ночью во сне я целовала эту гладкую выбритую щеку, гладила его волосы и словно пила эти глаза, бездонные, черные. Ведь я наяву не испытывала ничего такого ни с мужем, ни с любовниками, а до моего знакомства с Ильей у меня

было два увлечения – глупые, кратковременные, ни даже с Ильей... Милый, дорогой, любимый!

Все они упрекали меня в холодности, ты не говорил этого, но...

Не хочу думать об этом, это отвратительно, скверно, грязно.

Но почему? Потому что я люблю Илью, была и буду его женой, меня ждет его мать, сестры, чистые девушки. Потому что того, другого, я не знаю и не могу любить и не люблю.

Потому что в Илье я нашла свой идеал. Илья даже красивее: это сила, мощь, а этот... Худенькая фигурка, такая стройная, грациозная, гибкая, а ведь он, наверное, силен – плечи у него сравнительно широки. Да что это я опять! Это потому, что уже стемнело... Скорее бы утро... Я боюсь ночи.

В Новороссийске распрощалась с моей спутницей и пересела на пароход.

Плывем. Море, как стекло. Такое спокойное и милое, что даже я чувствую себя хорошо, а у меня морская болезнь делается чуть не на Фонтанке.

Один инженер высадился на первой остановке, другой едет дальше.

Сегодня я как-то поспокойнее рассмотрела его; славное, румяное лицо с небольшой круглой бородкой, кудрявые русые волосы и умные серые глаза.

Он веселый и милый собеседник, с ним легко.

На палубе я пишу этюд красками с трех богомолков. Богомолки согласились позировать мне за два целковых, но предварительно справились у едущего на Афон монаха, не грешно ли это. Монах, подумав, разрешил, сам уселся на лавочке около них и задремал, сложив жирные руки на огромном животе... Пишу и его – даром.

Сидоренко – фамилия инженера – сидит рядом со мной, подает мне нужные кисти и краски, и мы весело разговариваем, острим, смеемся.

– Право, – говорит он, – даже обидно! Вот встретились мы с вами, так хорошо провели два дня, а может быть, никогда не увидимся.

– Кто знает? Судьба иногда сталкивает людей совершенно неожиданно для них. Да вы куда едете?

– В С.

Я начинаю хохотать. Он смотрит на меня удивленно.

– Да ведь я тоже еду в С.

– Да неужели? Как это хорошо! Вы уж позвольте мне навестить вас.

– Конечно. Я познакомлю вас с семейством, где буду гостить. Толчины. Может быть, слышали.

– Слышал, слышал. И много хорошего.

– Я познакомлю вас с милыми барышнями и надеюсь, что вы не будете скучать.

– Хоть ни с кем не знакомьте – я приду для вас... Право, мы так мало знакомы, а вы мне точно родная.

– Виктор Петрович! У вас, наверное, ужасно много такой родни по всей России! – качаю я головой.

Он краснеет.

– Вы, конечно, имеете право посмеяться надо мной, но иногда, знаете, бывает, что с иным человеком сходишься ближе в двое суток, чем с другим в десять лет, а я человек откровенный. Часто люди считают это большим недостатком. Не правда ли?

– Только не я, – ласково отвечаю я.

– Ну, вы – особенная.

– Нет, я нисколько не особенная и терпеть не могу, когда меня подозревают в желании оригинальничать, – мой тон сразу становится резким.

– Боже мой, Татьяна Александровна, да разве я сказал что-нибудь подобное? – восклицает он.

– Да нашли же вы во мне какие-то особенности, – говорю я, пристально всматриваясь в полупрозрачную светотень, падающую от тонкого белого платка на личико молоденькой богомолки.

– Ах, да вы не поняли меня! Я хотел сказать, что вы не такая, как другие...

– Хуже?

– Да нет.

– Я лучше всех?

– Ах, какая вы... Не в этом дело, а...

– Ну запутались! – смеюсь я.

– Да вы хоть кого запутаете, – говорит он полусердито и начинает перелистывать мой альбом.

Мы молчим. Старшие богомолки клюют носом, а девушка смотрит вдаль большими грустными глазами. Какое милое личико! Из-под белого платка по спине спускается тяжелая русая коса, маленький ротик полуоткрыт... Что она думает? Какое сочетание грусти и интереса к окружающему! Если бы я была мужчиной, я бы не влюбилась в эту девушку, но хотела бы ее иметь сестрой или дочерью. Это, наверное, одно из тех существ, около которых так тепло и уютно жить...

– Вот знакомое лицо! – восклицает Сидоренко. Оборачиваюсь к нему и вижу, что он смотрит на набросок, сделанный с «того». Я вздрагиваю, как от испуга, и молчу, боясь, что мой голос дрогнет.

– Кто это? – опять спрашивает Сидоренко, подавая мне альбом.

Я заглядываю и равнодушно говорю:

– А, это я ехала с ним до Москвы – какой-то англичанин, забыла фамилию.

– Старк!

Я ставлю такую кляксу на лицо третьей богомолки, что, если бы мой собеседник что-нибудь понимал в живописи, он обратил бы внимание на это. Но он не замечает, и я, собравшись с духом, отвечаю:

– Старк? Да, кажется, так. А откуда вы его знаете?

– Я познакомился с ним года три назад здесь, на Кавказе,

у директора Т-ских заводов. Старк – представитель какой-то крупной торговой фирмы – скупает дорогие сорта дерева и отправляет во Францию. Он умный малый и веселый собеседник. Когда я ездил в прошлом году в Париж, я даже оставался у него.

– Вы подружились?

– Как вам сказать? Мы приятели. Друзьями мы не могли стать – мы расходились с ним во многом.

– В чем же особенно?

– Как вам сказать... Да почти во всем, а больше всего в политике и в вопросе о женщинах или в женском вопросе, как хотите, – улыбается Сидоренко.

– В женском вопросе? А вы им интересуетесь?

– Как вам сказать, я совершенно не сторонник равноправия женщин, но я их уважаю, а Старк, напротив, требует для женщин всех прав, а сам смотрит на них, как на какой-нибудь хлам. Тогда, в Париже, мы кутили. Что говорить, вели себя по-кавалерски, но меня всегда возмущало его отношение к женщинам: он брал их походя, сейчас же бросал. Правда, это все были продажные женщины, но он не лучшего мнения и о порядочных. Как-то мы возвращались с вечера в знакомом семействе и я, восхищаясь одной очень милой девушкой, спросил: неужели он не заметил ее внимания к нему? Он пожал плечами и говорит: «Я никогда не завожу интриг с девушками и порядочными женщинами. Sa pleuqe!» Не правда ли, милое выражение? Эти господа понимают только холод-

ный разврат. Они не могут любить порядочную женщину.

– Но порядочный человек не будет ухаживать за девушкой без серьезной цели, – равнодушно замечаю я.

– Ну понятно, но нельзя же подходить к каждой женщине с одной грязной целью, и если нравится женщина, если ее полюбишь, разве думаешь о неудобствах или обязательствах? Это уже будет не любовь. Тогда же Старк добивался любви одной испанской танцовщицы, слывшей неприступной. Что он только не выделывал! Подносил ей цветы, сидел часами в ее уборной, дарил драгоценности, оплачивал ее счета. Я даже был уверен, что он не на шутку увлекся, так как дрался из-за нее на дуэли. Наконец она сдалась, и это событие мы должны были отпраздновать после спектакля в ресторане. Мы весело ужинали втроем, когда Старку подали деловую телеграмму. Он прочитал ее и обратился ко мне по-русски: «У меня важное дело, придется несколько дней усиленно работать, сообщать, вести дипломатические переговоры, а я никогда не мешаю женщин с делами. Берите эту прекрасную Мерседес себе! Не пропадать же моим двадцати тысячам франков». В первую минуту я даже не сообразил, что он говорит, а он очень вежливо обратился к ней и, почтительно поцеловав ее руку, сказал, что, к его отчаянию, должен ехать домой, заняться делами, а свои права на нее уступает своему товарищу, то есть мне. Если бы вы видели, как она изменилась в лице! Вскочила, указала ему на дверь, крикнула: «Вон!» Потом упала головой на стол и разрыдалась. Он пожал плеча-

ми, пожелал нам спокойной ночи и вышел. Ну, судите сами – красиво оскорблять так женщину?

– Конечно, это немного цинично, но ведь этой женщине заплатили, – говорю я и злюсь на себя, потому что, пока говорит Сидоренко, на меня нападает какая-то слабость. Я представляю себе его лицо, его глаза, его губы.

– Татьяна Александровна, дело не в этом! Эта женщина среди рыданий твердила мне, что деньги тут не играли никакой роли, что по его поведению она думала, что он полюбил ее и что она была бы счастлива этой любовью. Он вообще ужасно цинично смотрит на любовь и не верит в нее. Он разстроил такую потеху, что от нее просто коробило. Я даже не могу этого вам рассказать.

– Даже мне? – удивляюсь я.

– Да.

– Это что-нибудь очень неприличное? – Я мучительно хочу знать.

– Если хотите, в самих фактах не было ничего неприличного, но смысл, дух всего – просто одна порнография.

– Ну расскажите, ведь я не наивная барышня.

– Не могу.

– Фу, как глупо, – говорю я, с волнением собирая краски, кисти. Писать я больше не могу и захопываю ящик.

Сидоренко осторожно берет мой этюд, смотрит на него и говорит:

– Вы настоящая артистка, Татьяна Александровна! Та же

самая фраза, что сказал мне «тот»!

– Много вы понимаете, – вдруг выпаливаю я. Я почти уже не сдерживаюсь, вырываю этюд из его рук и поворачиваюсь уходить.

– Татьяна Александровна! Да на что же вы так рассердились? – не понимает он.

Я чувствую, что надо ему объяснить мою грубость, и говорю сердито:

– Вы разозлили меня. Что это за манера заинтересовать человека, а потом... Если нельзя что-нибудь рассказать, так не нужно и начинать... Я очень любопытная, и меня злит, когда со мной разговаривают, как с барышней... Я люблю простое товарищеское отношение.

Боже мой, что я несу! Экий ты, батюшка, ненаходчивый, вот теперь бы тебе отомстить мне, сказать, что я запуталась. Но нет, он смотрит на меня добрыми глазами и только удивляется.

– Не хочу с вами говорить, пока вы мне не расскажете историю преступления г-на Старка. Слышите? – говорю я капризным тоном.

– Да не могу, ну право, не могу рассказать, не оскорбив ваших чувств.

«Да почему ты знаешь о моих чувствах, простота ты этакая!» – думаю я и ворчу:

– Как хотите, это ваше дело, – и ухожу в каюту.

В каюте я срываю с себя передник и бросаюсь лицом в по-

душку. Мне мучительно хочется видеть его! Я хочу целовать его глаза, его губы – его щеку около шеи. Хочу слышать запах его духов! Зачем я о нем говорила? Но ведь мне не говорили ничего хорошего. Ах, да не все ли равно, пусть он будет чем угодно, дураком, развратником, пьяницей! Я хочу в эту минуту его улыбки, его поцелуя!.. А Илья...

Я вскакиваю, хватаюсь за голову: нестерпимо стучит в висках. Я плачу от злости и стыда – и сразу успокаиваюсь.

Что за глупости! Что я думаю? Ведь это какой-то бред, болезнь! Я люблю Илью, одного его. Вся эта глупость – не любовь. И если бы сейчас, сию минуту, мне сказали, что «тот» умер, я бы обрадовалась. Для меня мучительно думать, что он существует.

Я сижу и смотрю на круглый иллюминатор. Я совершенно спокойна, мне даже смешон мой пароксизм.

«Ну, Таточка, – говорю я сама себе, – вам верно пятнадцать лет, что вы влюбились в прекрасного незнакомца и сумасшествуете». Да нет, я в пятнадцать лет влюблялась только в артисток, танцовщиц и красивых женщин. Первый мужчина был мой муж. Я вышла замуж в семнадцать лет, в двадцать уже овдовела.

Влюбилась я в его гусарский мундир и жиденький тенор, которым он пел цыганские романсы. Много значило и то, что все посетительницы салона моей матери сходили с ума по его усам. А он думал поправить долги моим приданым. Что это было за глупое замужество! Через полгода я узнала, что

он вернулся к своей прежней страсти, и ужасно обиделась. Именно обиделась. Потом это стало мне развлечением: мы с подругой нашли ее письма к нему на его письменном столе, перечитали их и изводили его намеками. Я рисовала карикатуры на него и его даму и посылала ему по почте. Он не решался спросить меня, терялся, путался, а мне было очень весело. Право, весело. Я могла капризничать сколько хочу. Целыми часами я рисовала, он не смел запретить мне поступить в академию, не мог заставить меня выезжать в свет, в скучный круг его знакомых – я жила, как хотела.

Одно было у меня горе – мои дети не жили. Странно, этот человек не оставил мне никаких воспоминаний. Я даже недавно с трудом вспомнила его имя. Знаю, что Алексей, но как по бабушке – хоть убей – едва вспомнила.

Другие... Их было двое. Я себе не даю отчета даже, как это вышло и зачем. Я совсем их не любила. Один бросил меня, приревновав к другому, а другой надоел мне чуть не через неделю. А они, кажется, меня любили.

Илья! Вот кого я люблю – его одного. Мы так сжились, так славно вместе работаем. Я чувствую себя за ним как за каменной стеной. Это самый надежный, самый верный друг. Потеряй я Илью, я бы, кажется, не пережила этого. Он мне не только муж – это друг, брат, отец, ведь у меня никого нет из близких родных. Все, что во мне есть хорошего, это его влияние, все, чем я живу, – это искусство и он. Он любит меня как друга и как женщину, он даже чересчур страстен.

Чего же мне надо? Ведь я... «Ты такая чистая, – говорит он в порыве страсти, – мне иногда даже кажется, что ты холодна ко мне».

Я целую его и говорю, что он мне дороже всего на свете. И это верно: ему я никогда не лгу. Мне иногда хочется отвечать на его страстные ласки такими же и... Не умею, не могу... Неужели, правда, я чиста? – думала я всегда. А теперь я знаю, что нет. Какая гадость! Не надо вспоминать об этом. Вот звонок к обеду, надо идти мириться с моим инженером: я была невозможно груба. А все же... Неужели Сидоренко не расскажет?

За столом идет общий разговор о Кавказе. Я его ругаю, старый полковник его защищает, у нас у каждого своя партия. Темнеет.

Капитан говорит, что сегодня ночью может начаться качка. Я очень рада: проведу спокойную ночь! Меня будет тошнить, будет болеть голова и под ложечкой. Я очень рада: это лучше, чем то, что я испытываю ночью. «Посмотрим, – думаю я с насмешкой над собой, – что сильнее: ты или морская болезнь?»

– Что же с вами будет, Татьяна Александровна? – говорит Сидоренко, поднимаясь со мной на палубу.

– А вы забыли, что я с вами не разговариваю? – оборачиваюсь я к нему со всем кокетством, на которое способна.

– Неужели вы еще не сменили гнев на милость?

– И не сменю!

Я облокачиваюсь на перила, смотрю на море. Луна уже всходит – запад багряно-красный, и море слегка морщится. Качка, наверное, будет. Я люблюсь еще желтоватым столбом луны, гоню от себя все мысли, наслаждаюсь красотой ночи и тихонько напеваю.

– Татьяна Александровна, – говорит Сидоренко, – ну не грешно ли капризничать в такую ночь?

– Я с вами не разгова-а-ари-иваю-ю! – пою я.

– Но если я не могу рассказать вам! Я делаю движение уйти.

– Ну хорошо, хорошо, я расскажу, – соглашается он.

– Вы душка, – говорю я тоном восторженной институтки. – Только, пожалуйста, рассказывайте подробно и литературно. Так что же это за история?

– Да это не история...

– Ну сделайте историю... ну, хороший Виктор Петрович!

Я кладу руку на его рукав и заглядываю ему в глаза.

– Татьяна Александровна, а я не знал, что вы кокетка, – говорит он с упреком.

– А это разве худо?

– Не знаю, я с вами запутался и не знаю, что хорошо, что худо. Парадоксальная вы женщина!

– Парадоксальная женщина!.. Это удачно, Виктор Петрович, я аплодирую вам. Но к делу, к делу, к истории!

– Эх, от вас не отделаешься. Так слушайте. Знаете вы барона Z., биржевика, музыкального мецената?

– Слышала о нем. Что же дальше?

– Когда Старк был в Петербурге, они познакомились где-то на вечере у какого-то представителя haute finance. Вы знаете репутацию барона Z.?

– Слышала о нем что-то скверное, но не помню что.

– Репутация эта очень грязная в нравственном смысле, в деловом же безукоризненна. Ну... Ну... И не знаю, как это сказать... Ну, он, то есть Z., воспылил страстью к Старку.

– Как это? – удивляюсь я.

– Вот-вот, я знал, что вы не поймете! – с отчаянием восклицает Сидоренко. – Как же я буду рассказывать?

– Да нет! Стойте! Я понимаю. Теперь дальше, дальше.

– Так вот... Я еще в Петербурге говорил Старку: «Охота вам бывать у этого господина! Что о вас подумают?». «Я бываю, – отвечал он мне, – у него только на обедах и музыкальных вечерах, а запросто к нему не пойду». – «Да ведь он прямо за вами ухаживает!» Старк расхохотался. Когда мы одновременно уехали со Старком в Париж, и Z. оказался там. Куда мы – туда и он. Меня это изводило, а Старк помирал со смеху. Один раз возвращались мы с Лоншанских скачек, и пришла нам фантазия пройти через Булонский лес пешком и у Порт-Нельи сесть в метро. Погода была чудесная, народу масса, не прошли мы и полдороги – видим: в великолепной коляске катит Z. «Постойте, – говорит мне Старк, – я сейчас устрою представление!» И не успел я ему помешать, как он остановил Z., и тот увязался за нами. Старк был ужасно

любезен с ним и позвал его в ресторан «Каскад» пить вино. Z. так и расцвел. Пока они болтали, я бесился, что Старк меня заставляет быть в обществе такого господина, и когда они направились к ресторану, я решительно хотел уйти, а Старк шепчет мне: «Смотрите, Z. подумает, что вы ревнуете». Татьяна Александровна, войдите в мое положение, что мне было делать? Этот господин со своей грязной душонкой действительно мог подумать про меня такую гнусность. В эту минуту я просто ненавидел Старка за то, что он ставит меня в такое глупое положение. Делать нечего, я пошел с ними. Кажется, Z. так и остался при своем мнении, потому что я извелся вконец, глядя на эту комедию. Старк словно хотел нарочно убедить Z., что надежды его не напрасны – он принял на себя роль женщины, за которой ухаживают. Я уж изводиться не стал, а только удивлялся... За разговором Старк вдруг оборачивается ко мне и капризным тоном говорит: «Сидоренко, закройте окно. Мне дует!» И вы знаете, Татьяна Александровна, я встал и запер окно, да как еще поспешно, только потом опомнился и плюнул даже. Прошло несколько времени. Что у них был за разговор, не знаю. Z. что-то тихо говорил Старку. Вдруг Старк поднимается, медленно берет стакан с вином и выплескивает в лицо Z. Потом достает свою визитную карточку и обращается ко мне: «Виктор Петрович, дайте барону и вашу карточку, чтобы он мог послать своих секундантов к вам для переговоров на случай, если ему угодно требовать от меня удовлетворения».

Когда мы ехали назад, Старк был в восторге. «Нет, это восхитительно! Что теперь будет делать Z.? От дуэли отказаться нельзя: я его оскорбил при свидетелях. Ему придется драться с кем-то вроде любимой женщины!»

«Послушайте, Старк, – сказал я, – для чего вы затеяли всю эту историю и меня еще секундантом заставляете быть?» – «Ну, дорогой Виктор Петрович, это так все забавно. Ну сделайте мне удовольствие». – «Бросьте вы этот тон, Старк, я не Z». – «Ах, простите, я все не могу выйти из своей роли». Дуэль не состоялась. Z. уехал, не прислав секундантов. А Старк искренне огорчился.

– Я вижу во всем этом одно мальчишество, – говорю я равнодушно и иду в каюту.

Какая скверная ночь! Морская болезнь не помогла.

Я проснулась поздно. У меня ужасно скверно на душе. Не хочется вставать, не хочется одеваться. Висок болит, и вся я разбита. Гадко! После завтрака мы приедем в С. Надо улыбаться, любезничать, показывать родственные чувства. А стою ли я, чтобы эти женщины и мальчик любили меня? Я так сама себя загрязнила своим воображением. Противно вспомнить картины, какие рисовало мне невольно воображение. Нет, с этим надо покончить раз и навсегда!

Я вскакиваю, одеваюсь. Ну и физиономия у меня! Губы сухие, под глазами круги. Я укладываю чемоданы и выхожу на палубу. Спасибо Сидоренко: он действует прекрасно на

мои нервы. Мы подъезжаем к С., он вытаскивает мой чемодан на палубу и говорит весело:

– Значит, вы меня приглашаете к себе? Да? Смотрите, ведь я завтра уже явлюсь с визитом!

– Конечно, конечно, – говорю я торопливо, пристально всматриваясь в народ на пристани. Я по просьбе Ильи дала из Новороссийска телеграмму и кто-нибудь обязательно встретит меня. Я стараюсь угадать их в толпе.

А ведь я была права. Мать и Катя встретили меня приветливо и вежливо, но очень сдержанно. Женя бросилась мне на шею и сразу влюбилась. Андрей смотрит бирюком. Мать – маленькая брюнетка, такая моложавая для своих лет, что Катя – высокая, полная, тоже брюнетка – кажется одних лет с матерью. Впрочем, я не умею определять года таких женщин.

У Кати красивые черты лица, она могла бы казаться красивой, но ничего не делает для этого и из особого кокетства, присущего этим типам, даже уродует себя. Волосы словно нарочно причесаны так, что видны редеющие виски. Она носит какой-то угловатый корсет, и гладкое платье неуклюже стянуто кожаным поясом. Лицо у нее суровое, с густыми бровями и крупным носом. Это лицо кажется надменным, именно не гордым, а надменным. Лицо матери мягче, проще, но в нем какое-то затаенное недовольство. Верно, против меня.

Если бы они показали мне хотя бы искорку теплоты! Я бы откликнулась, откликнулась всем сердцем! А теперь?..

Теперь постараемся быть в хороших отношениях. Конечно, их можно обойти, но я так устала, что не хочу себя ломать и стараться.

Женя похожа на Илью – тоже крупная и блондинка. Она очень хорошенькая. Чудный цвет лица и красивые глаза. Она прекрасна своей молодостью, свежестью и могла бы быть еще лучше, но не умеет. Андрей – брюнет. Ужасно не люблю мальчишек этих лет. Они или грубы из принципа, или надоедливы, как фокстерьеры. Он показывает мне даже некоторую враждебность. Это что-то идущее от старшей сестры.

Мать воспитанна и тактична. Женя удивительно мила, Андрея я почти не вижу. Все шло бы гладко, но Катя!

Мой сундук пришел. Я разбираю его с помощью Жени. Женя весело смеется и восхищается моим бельем и платьями. Катя презрительно кривит рот и не выдерживает:

– Такое кружевное платье, наверное, стоит двух месяцев профессорского жалованья.

– Вы ошибаетесь, Катя, – весело говорю я, – это платье стоит очаровательной детской головки и целой корзины грибов.

– Какой головки, каких грибов? – Она хмурит брови.

– Я сшила его на деньги за проданную на выставке картину «Девочка с грибами».

Она закусывает губы и говорит:

– Сколько народу можно накормить этим платьем!

– А разве кружева едят? – спрашиваю я наивно. Женя фыркает от смеха. Катя краснеет. Я чувствую, что зашла слишком далеко, и весело говорю:

– Ну полно, Катя, какая вы сегодня строгая. Вот вам новая книжка журнала, прочтите-ка, какая интересная статья вашего кумира Л.

– Благодарю, – сухо произносит она, берет книгу и уходит из комнаты.

Пишу в саду этюд с цветущей магнолией. Женя сидит рядом и без умолку болтает о гимназии в К., которую она окончила в прошлом году.

– Осенью я поеду на педагогические курсы. Сначала мама хотела ехать со мной, но потом раздумала.

Я понимаю, почему раздумала: она потеряла надежду жить с сыном.

– Вы, конечно, Женюша, поселитесь у нас?

– О, мне бы очень хотелось! Но Катя находит, что мне лучше жить одной.

Я окликаю Катю и прямо спрашиваю, что она имеет против того, чтобы Женя поселилась у нас зимой.

– Хотя бы потому, – отвечает Катя, – что у вас, наверное, очень шумно.

– У нас? – удивляюсь я. – Да у нас мертвый покой! Пока

светло, я работаю в мастерской, а вечером занимаюсь скульптурой, рисую, читаю. Разве Илья мог бы работать при шуме? Изредка мы ходим в театр, в концерт. Гости у нас бывают очень редко.

– Женя может привыкнуть у вас к роскоши.

– Вы, Катя, не знаете дороговизны петербургской жизни. Илья получает три тысячи, я зарабатываю приблизительно столько же. Илья добр, вы знаете его доброту. Он многим помогает и, уверяю вас, при таких средствах особенной роскоши не заведешь.

– Я сужу по вашим платьям и безделушкам, – говорит она, немного сбитая с толку.

«Как ты молода еще, милая», – думаю я и продолжаю:

– Я люблю все красивое и изящное – это правда, но таким труженикам, как мы с Ильей, большая роскошь не по карману. Не забудьте, я еще всю зиму болела и не могла работать.

Она не выдерживает:

– Право, глядя на вас, как-то странно слышать: труженица, работать...

– Почему? – наивно спрашиваю я. Мать тревожно взглядывает на Катю.

– Ваша работа для вас – развлечение, удовольствие.

– А разве надо ненавидеть свою работу? Разве вы ненавидите ваших учениц, ваш труд? – удивляюсь я.

Она хочет что-то возразить, но я не даю:

– Правда, мой труд лучше оплачивается. Художниц мень-

ше, чем учительниц.

Она начинает краснеть.

– Вы производите предметы роскоши, не знаю, труд ли это.

– Значит, вы ни во что не ставите работу бедной фабричной девушки, которая целый день гнет спину над плетением кружев, – восклицаю я с ужасом, – только потому, что она производит предметы роскоши?

«Не слишком ли я?» – мелькает у меня в голове. Да нет, «бедная труженица», «гнуть спину» – это такие обиходные слова в ее лексиконе, что она и не заметила их.

– Да, но работница получает гроши! – восклицает Катя.

– Опять только потому, что работников много. Да и потом надо же как-то оценивать талант и творчество. Ведь переписчик получает гроши сравнительно с писателем.

Катя молчит. Мать тревожно смотрит на нее. Я принимаюсь опять за работу, и мне досадно. Катя – слишком слабый противник. Стоит ли тревожить мать этими разговорами? Не молчать ли лучше? Что за бабье занятие – такая пикировка!

Какая чудная ночь! Я стою в саду. Какая тишина, какой аромат! Вся листва, весь воздух, трава полны светящимися мухами. Море шумит, шумит. Я бы пошла туда, к морю, но калитка заперта. Искать ключ – перебудишь всех в доме. Все спят. Как могут люди спать в такую ночь? Как может спать Женя! Я в ее годы была способна прогулять всю ночь.

– Таточка, вы не спите? – слышу я ее голос с террасы.

– Нет, сплю! Это я в припадке лунатизма гуляю по саду! – говорю я загробным голосом.

Женя хохочет и выбегает ко мне. Она закутана в большой байковый платок.

– Как вы неосторожны, Таточка, в одном батистовом платье. Лихорадку схватите.

– Верно! На этом Кавказе при всех наслаждениях природой всегда стоит лихорадка.

– Я поделюсь с вами своим платком! Женя окутывает меня, и мы медленно идем по саду.

– Таточка, я вас ужасно люблю, – Женя нагибается и целует меня. Я не маленького роста, но она выше. – Вы, может быть, не поверите, а я с первого взгляда полюбила вас! Нет, я даже вас раньше полюбила, давно, как только Илюша стал нам писать о вас. Я Илюшу тоже страшно люблю – больше, чем Катю и Андрея.

– Илья лучше всех! – смеюсь я.

– Да, да, лучше всех! И вы такая именно жена, какую я хотела для него!

Это детский лепет, но мне отрадно, мне тепло, я ее целую с благодарностью.

– Вы так не похожи на всех наших знакомых дам. Вы какая-то такая... яркая. Вот мама и Катя говорят, что вы некрасивая. А вы мне кажетесь красивей всех, кого я знаю. Катя находит, что ваши платья, ваша прическа слишком теат-

ральны, а мне все это кажется таким красивым. Катя у нас чрезвычайно строгая ко всему, что она называет пустотой, а к этому она причисляет все: и веселье, и платья. И ведь это предрассудки, не правда ли?

– Женюша, Женюша, не откидывайте предрассудков! Потом трудно остановиться на этом пути. Границы нет! Платье, прическа – это пустяки, но если пойдете далее... Милая моя деточка, слушайте Катю и маму, вы проживете спокойно, счастливо, без тревог!

«И страстей», – прибавила я про себя.

Я теперь на ночь всегда принимаю опиум и засыпаю без снов, как убитая. А значит, с «тобой» можно бороться! Днем сила воли, ночью – опиум. Я выздоравливаю. Выздоровливаю!

Мне иногда даже жалко Катю! Она совершенно сбита с толку. Как ей хочется оправдать перед самой собой свою ненависть ко мне. Ее честность страдает от этой несправедливой, ни на чем не основанной ненависти. Она ищет, мучительно ищет зацепиться за что-нибудь и – не за что! Всех пороков, которые ее бы утешили, нет!

Я работаю, брат ее со мной не опустил, а напротив, идет в гору и в письмах называет меня своим вдохновителем, другом, правой рукой. Относительно знаний, образования я выше ее, даже читала гораздо больше. Эти последние удары я

наносила не сразу и всегда дав ей немного пошпынить меня. Сознаюсь, это женская мелочность. Мне доставляло удовольствие удивлять и ошеломлять ее.

Попробовала она меня со стороны политических убеждений – они оказались одинаковы. Мне страшно хотелось удариться в крайне левую сторону, но я сдержалась, пусть будет меньше предлогов к рассуждениям и спорам. Наши споры положительно мучительны для Марьи Васильевны. Даже «помощь ближнему» у меня шире, так как у меня больше заработок. Остаются мои туалеты.

Катя ходит вокруг меня и изнывает. Как-то мы говорили о ее любимом беллетристе Д. Д. – друге Ильи, мы с ним знакомы давно. Я дала ей книгу его рассказов. На этой книге очень любезная надпись, какие обыкновенно пишут писатели, даря экземпляр книги своим почитательницам: «Талантливой, чуткой умнице Таточке от друга».

Добродушный Иван Федорович, наверное, ста знакомым дамам написал то же самое, но для Кати он кажется каким-то небожителем, его слова – закон, заповедь. Она теперь еще более мучается совестью, что чувствует ко мне беспричинную антипатию. Когда она прочла надпись на книге и изменилась в лице, мне было ее жалко, я даже хотела крикнуть: «Катя, я подкрашиваю ресницы. Может быть, это вас утешит?»

Она сама себя не понимает... А я ее понимаю. Это органическая антипатия. Я воплощаю для нее физически тип,

ей антипатичный, и никакие мои нравственные достоинства не помогут. Если бы я совершила какой-нибудь выдающийся подвиг из любви к человечеству, она все равно не смогла бы пересилить свое отвращение ко мне.

И это тело! Душа, сердце, разум здесь ни при чем!

Как часто мы слышим: он во всех отношениях безукоризненный человек, но он мне несимпатичен – и наоборот: он пьяница, он дрянь, но он такой славный.

Это тело! Тело кричит – и ничего с этим не поделаешь ни умом, ни разумом. Можно только удержать себя от проявлений симпатии и антипатии.



Катя меня не побьет, не отравит – она удержится. Она не

понимает этого, а я... О, как хорошо я это понимаю! Катя, днем – сила воли, а на ночь принимайте опиум, а то вы, наверное, во сне четвергуете меня или жарите на вертеле! Принимайте на ночь опиум!

Вот уже две недели, как я здесь, и, к своему удивлению, прекрасно себя чувствую. Невралгии нет, остатков болезни как не бывало.

Я работаю, лазаю по горам и ем, ем просто неприлично.

Мать сильно поддается. Если бы ее можно было взять лаской, я бы приласкалась к ней, право, искренне – она мне нравится. Женя от меня не отходит, а Катя и Андрей избегают.

Сидоренко сделал мне визит, и Катя радостно насторожилась, бессознательно надеясь поймать меня хоть на кокетстве, – и тут не выгорело. Если я слегка и кокетничаю с Сидоренко, то так, что ни он сам, ни Катя этого не замечают.

Обхаживаю одну абхазку. Познакомилась с ней в купальне. Господи, что бы я дала, если бы она согласилась позировать мне. Что за тело, формы, краски! Рожа глупая, носатая! Но бог с ней. Я ей закину голову – изменю лицо. Никогда не видала такой спины, бюста, ног – загорелая Венера.

Но ведь не согласится, не согласится, дура! Уж я ухаживаю, ухаживаю за ней... Подарила ей браслет, хожу к ней в гости и по целым часам слушаю, как делаются сацибели и чучхели.

Я люблю и умею писать женское тело. Оно так прекрасно!

Я выставляюсь всего три года, а мои обнаженные сделали мне имя. Как женщине мне легче найти натуру. Очень часто и охотно мне позируют мои знакомые дамы и барышни. Ах, нарисовала бы я мою абхазку, всю вытянутую, слегка откинувшуюся назад, под ярким светом солнца, у темного камня! Я так и вижу светлых зайчиков на камне и на ее смуглом, безукоризненной формы плече и бедре!

Не согласилась, анафема! Завтра возьму камеру и потихоньку сделаю с нее несколько снимков, пока она будет купаться. Унесу хоть ее формы, если не удастся унести колорит. Дура! Я целый день хожу злая и уверяю, что у меня болит голова.

Опять умоляла абхазку, отдавала ей мою бриллиантовую брошь – не помогает!

У меня в голове уже явилась картина. А когда я «беременна картиной», как говорит Илья, я не могу ни о чем другом думать. Как только кончу осенью в Риме мой «Гнев Диониса», примусь за эту. Большое полотно, аршина четыре в высоту. Море, скалы и женщины, много женщин.

Я не повторю обыкновенной ошибки художников, которую делают большинство из них, когда изображают группу женских тел: они пишут их с одной модели в разных позах.

Нет! На переднем плане у меня будет великолепная, рыжая женщина со слегка даже тяжеловатыми формами – од-

на из веселых дам Петербурга, она уже позировала мне. Это, как поется в «Синей бороде», «Un Rubens, un fameux Rubens». Она будет лежать, разметав свою рыжую гриву... Рядом поставлю мою абхазку. Сила, мускулы – Диана! А с другой стороны – одну знакомую курсисточку, Наденьку Флок, легкую, серебристую, нежную. Наденька некрасива, и голову нужно другую... Ах, моя богомолка с парохода!.. Дальше другие, танцующие, бегущие, плывущие и играющие в воде. А на переднем плане справа – старуха! Голая, сухая, безобразная – и вы будете такими, как я! Вот и название. Беззубый рот насмешливо улыбается, и столько злого сарказма в злых красноватых глазах!

Хожу и думаю о моей картине. Лихорадочно пишу этюды моря, камней. Хотела попросить Женю попозировать – не годится. Грудь в виде маленьких торчащих вперед конусов, на талии складка спереди, а я люблю прямую линию, зад низкий, как у лошади, павшей на задние ноги. Но руки, плечи, кожа восхитительны. Я опущу ее в воду. Эта головка с распущенными волосами, с лиловыми вьюнками, падающими из венка на плечо, будет очаровательна! Она будет плыть, улыбаться!..

Завернув свои длинные косы кольцом,  
Ты напомнила мне полудетским лицом  
Все то счастье, которым я грезил во сне,  
Грезы первой любви ты напомнила мне! —

поет Сидоренко под аккомпанемент Жени. У Сидоренко славный баритон, и поет он музыкально и с большим вкусом. Я люблю его слушать.

Грезы первой любви...

Надо написать мою богомолку одну, в поле... Букет полевых цветов вываливается из рук... Она застыла с устремленными вверх глазами... Кругом тишина, простор...

Грезы первой любви...

Моя первая любовь была... какая-то барышня, живущая напротив. Очень хорошенькая брюнетка, а мне было всего восемь лет...

Я иногда по целым часам поздно вечером стояла у окна, чутко прислушиваясь, чтобы не вошла моя фрейлейн и не прогнала в кровать. Я смотрела на противоположное окно, где мой кумир сидел за роялем в ярко освещенной гостиной. Я иногда встречала ее на лестнице, и сердце мое замирало, а потом усиленно колотилось. Как я мечтала тогда!

Я была здоровой, живой девочкой, любила шумные игры, с мальчишками в особенности, а тут начала прятаться по углам, садилась на низенький табурет за трельяжем в будуаре моей матери и мечтала.

Мечтала, что я познакомилась с моим кумиром; мы гу-

ляем, рисуем, живем на даче вместе... И так все подробно, до мелочей, ясно, живо: разговоры, приключения, путешествия...

Когда их семейство съехало с квартиры, у меня сделался жар, бред, я пролежала с неделю в постели.

Потом, конечно, это скоро забылось, но ее лицо, лицо моей первой любви, стоит передо мной как живое, я могу его нарисовать. Хорошенькая брюнетка.

Нет! Этого не может быть!.. Да, это так: тупой нос, резкий подбородок, рот, глаза черные, огромные... Что за наваждение? Или мне это кажется? Нет, не кажется, это факт. Как это странно!

Мне не по себе... Я начинаю перебирать мои увлечения. Может быть, это одно воображение, но в каждом лице, которое мне было симпатично, влекло к себе, была одна или несколько черт того лица. Значит, есть тип, который влечет меня, а воплощение этого типа сразу ошеломило.

Не надо думать об этом, не надо, а то еще, не дай бог, опять начнется...

Но ведь это интересный психологический вопрос! А в Илье? Есть ли черта... Да, конечно, лоб! Прямой, с выдающейся линией бровей. Этот лоб мне всегда так нравится, я его всегда и целую в лоб... А «то лицо» я хотела целовать все... Все... Я вскакиваю с места и кричу:

– Женя! Женя!

В моем голосе, верно, звучит что-то странное, потому что

Женя и Сидоренко вбегают, слегка испуганные, но я уже со-  
владала с собой и говорю с нервным смехом:

– Там, на перилах, скорпион!

Виктор Петрович хватает палку, Женя бежит за каменны-  
ми щипцами. Мне уже стыдно своего глупого волнения и я  
спокойно говорю:

– Бросьте, не стоит. Жар спал, поедем на велосипедах.

Я выучила Женю ездить на велосипеде. Она увлеклась  
этим спортом, как раньше верховой ездой и управлением па-  
русом. Катя отказалась. Ей, кажется, это нравится, но все,  
что идет от меня, ей противно.

Мы прислонили велосипеды к высокому орешнику и усе-  
лись отдохнуть. Дорога была отвратительная, да еще на подь-  
ем. Нам жарко, мы устали. Говорить не хочется. Вечер такой  
мягкий, ветра нет, море все розовое.

Женя задумчиво смотрит в даль, обмахивая лицо плат-  
ком. Я прилегла к ней на колени. Сидоренко лежит, опер-  
шись на локоть, и жует стебелек травы.

Я все думаю о странном совпадении и, желая разогнать  
эти мысли, сажусь и обиженным тоном говорю:

– Какой вы сегодня неинтересный собеседник, Виктор  
Петрович! Прочтите хоть стихи или спойте романс.

– Я не могу так сразу! Женя Львовна, о чем вы думаете?

Женя вздрагивает:

– Так, ни о чем!.. А впрочем, чего же я стесняюсь? О

«нем». Знаете, о «нем» в кавычках, как говорит Виктор Петрович.

– Ого! – восклицает Сидоренко, – у Жени Львовны есть «он»!

– То-то и дело что нет, – с таким огорчением произносит Женя, что мы смеемся.

– Ну, Женя Львовна, я три недели пою романсы, читаю стихотворения, спас трех котят из воды, подарил вам мандолину и семена американской картошки, ем тянушки вашего приготовления без единой гримасы – имею я наконец право попасть в кавычки? – произносит с пафосом Сидоренко.

– Э, нет, Виктор Петрович! – отвечает Женя серьезно.

– Отчего?

– Я вас очень люблю, да не влюблюсь, – трясет она головой.

– Но почему же?

– Потому что вы не мой тип!

– А вы знаете свой тип? – спрашиваю я быстро.

– Конечно!

– И я не подхожу под тип? – с комическим отчаянием спрашивает Сидоренко.

– Нет! Вы русый, а я люблю брюнетов; у вас борода, а я люблю одни усы – большие усы. Вы среднего роста, а я люблю очень высоких. Да и вообще я в вас не влюблюсь.

Сидоренко разводит руками:

– Ну хорошо, ну хорошо. Вы описали нам наружность, а

качества-то его душевные?

– Если он будет умный и хороший человек, это очень хорошо.

– Значит, он может быть и дурным, но только с усами! Ай, ай, Женя Львовна, а еще серьезная барышня!

Личико Жени выражает досаду.

– Конечно, я не умею это все хорошенько объяснить, я как-то мало думала обо всем этом. Я даже не очень люблю романы, где много говорится о любви, но мое мнение таково: сначала понравится наружность, может понравиться и некрасивая наружность, и все в ней мило, все нравится, и влюбишься, а потом оказывается – и глуп, и плох! Приходится разлюбить, а это больно. Вот и все. Лучше сказать не умею.

– Правда, Женя Львовна, – вдруг тихо говорит Сидоренко. – Правда! А если этот человек и умен, и хорош, тогда...

– Тогда крышка! – решительно говорит Женя. – Тогда счастье!

– А если мука?

– Не знаю. По-моему, любовь – счастье. Даже несчастная любовь!

Мы все молчим и смотрим на море.

– Ай да Женя Львовна, какую лекцию о любви прочитала! – с немного преувеличенной веселостью говорит Сидоренко.

Крышка?! Ну нет! Ты, милая, чистая девочка, не понима-

ешь, что есть два сорта любви, и одну из них можно отлично победить, потому что она не дает счастья.

Сидоренко едет в Тифлис через Батум. Мы все, кроме Кати, провожаем его на пароход. Женя чуть не плачет и умоляет не забыть привезти ей чуваки из желтой кожи. Мы надавали ему столько поручений, что составилась длиннейший список.

Сидоренко клянется, что приедет через две недели непременно, и умоляет Женю не влюбиться в приказчика из бакалейной лавки.

– Усы у него, как два лисьих хвоста! – уверяет он. – Пропало мое дело.

Сидоренко нервно весел. Пора садиться в фелюгу, но он все медлит и по нескольку раз прощается. Наконец прыгает в лодку и кричит, когда фелюга уже отходит:

– Женя Львовна! Крышка! Мы возвращаемся домой.

– Таточка, – странным голосом говорит Женя, – что это крикнул Виктор Петрович?

– Не знаю, Женюша, про какую-то крышку, – отвечаю я и чуть не падаю назад, так как Андрей наступает сзади мне на платье огромным болотным сапожищем и отрывает целое полотнище.

Марья Васильевна делает ему замечание, а Женя, стараясь мне помочь, говорит сердито:

– Хотя бы извинился, разиня!

Андрей молчит и смотрит на меня исподлобья.

– Извинись перед Татьяной Александровной, – говорит мать строго.

– Не нахожу нужным! – вдруг выпаливает он.

– Ты с ума сошел?

– Нисколько! Распустят хвосты с балаболками, а потом...

– Замолчи и ступай домой! – бледнеет Марья Васильевна.

Я смеюсь и шучу, стараясь сгладить этот инцидент, но Марья Васильевна страшно взволновалась.

Идя домой, она жалуется мне, что запустила воспитание сына. В С. нет гимназии, и она видит его дома только на каникулах. Я стараюсь успокоить ее, доказывая, что все мальчишки в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет большей частью грубы, считая это молодечеством.

А скучно без Сидоренки – славный он малый!

Сегодня вечером написали с Женей ему письмо, то есть писала я, а Женя делала приписки и ставила бесчисленное количество восклицательных знаков. Письмо вышло большое, забавное. Ждем его приезда с нетерпением.

Этот мальчишка делается невозможным. Я его до сих пор не замечала, а теперь он постоянно впутывается в разговор и говорит мне дерзости. Я упорно стараюсь не реагировать на его выходки и тотчас прекращаю разговоры.

Марья Васильевна то бледнеет, то краснеет, Женя злится,

а у Кати ходят скулы: она страдает, она видит, что такую же несправедливость по отношению ко мне делает другой человек, и ей стыдно и за него, и за себя – она слишком справедлива.

Женя что-то шьет, я кончаю этюд. Жарко. Мы молчим уже несколько минут.

– Таточка, вы очень любите Илью?

– Что это вам пришло в голову? Конечно, очень люблю! – я смотрю на нее с удивлением.

– Больше всего на свете?

– Больше всего. Зачем вы меня спрашиваете?

– Вот я прочла в одной из старых книжек какого-то журнала переводной рассказ, кончающийся вопросом... По поводу этого рассказа в Америке была даже анкета... Постойте, я вам его расскажу. Жил-был один царь, а у царя дочь. Эта дочь полюбила какого-то простого человека... Ужасно, ужасно полюбила... Царь, узнав про это, рассердился и хотел казнить его. Принцесса плакала, умоляла отца, и он решил так: в цирке на арене устроят две двери – за одной будет тигр. Страшный. Голодный. А за другой женщина, – Женя опустила шитье на колени. – Женщина будет прекрасна, так прекрасна, ну, одним словом, гораздо красивее принцессы. Любимого ею человека выведут на арену, и он должен открыть наугад одну из дверей... Откроет дверь с тигром – тут ему и смерть, конечно, а если другую дверь, то скрывающую-

юся за ней женщину дадут ему в жены, дадут много денег и отправят на корабле в далекую прекрасную страну...

Женя сложила руки и смотрела вдаль своими ясными глазами, так похожими на глаза Ильи.

– И что же дальше? – спрашиваю я.

– Вот собрались все в цирке, масса народу, и принцесса тут... Выводят этого человека. Ему нужно выбирать. Да, я забыла сказать, что принцесса знала, где тигр и где женщина. Он смотрел на нее умоляющими глазами: помоги, мол, мне! Она то бледнела, то краснела, несколько раз поднимала руку и опускала ее, потом вдруг вскочила и указала дверь! Женя поднялась:

– Что, Тата, было за этой дверью?

Я молчала. Женя была ужасно взволнована.

– Что же вы молчите, Таточка? Отвечайте мне, – в ее голосе была мольба. – Ну если бы вы были на месте принцессы, а на арене стоял Илья?

– Ну конечно, женщина! – говорю я убежденно.

– Да? Ах как хорошо!

– Детка, да чего же вы радуетесь? – изумляюсь я.

– Таточка, милая, я вам расскажу мой роман, простенький, коротенький, но у меня был роман, – смеется она.

– Ну-ну, говорите!

– Да, может быть, неинтересно?

– Полноте, как может быть неинтересна страничка жизни?

– Да это всего полстранички! Я была еще в последнем

классе гимназии, приехала из К. сюда на каникулы и познакомилась с одним правоведом. Мать его здесь имеет дачу. Ужасно важная дама. Мы с этим правоведом очень подружились, вместе катались верхом, на лодке... Уж не знаю как, только полюбили друг друга. Однажды он сказал, что любит меня, что на другой год кончит училище, женится на мне, и поцеловал меня... Больше я его не видала.

– И все?

– С романом-то все, а вот что было дальше. На другой день приехала его мать – она такая важная и гордая, чуть не встала передо мной на колени, прося отказать ее сыну... Она говорила, что мы молоды, что мы не пара, я буду чувствовать себя неловко в их кругу. Что он будет стыдиться меня, будет несчастен, что они запутаны в долгах и у него уже есть невеста, красавица, богачка, светская барышня, и что если я действительно люблю ее сына, то для его счастья должна отказать от него. Я вам все это передаю в грубой форме, но она говорила так мягко, изящно, убедительно, что мне стало ясно, что ему будет лучше, если он женится на той, другой. Я написала ему отказ. Очень я плакала, и все мне казалось, что я мало люблю, потому что отказала ему. Ведь другие женщины убивают даже любимого человека, только бы не отдать его другой.

– Нет, Женя, настоящая, чистая любовь не убивает. Вы действительно его любили. Убивают только тогда, когда нет любви, а одна страсть.

– А разве это не одно и то же?

– Нет! Тысячу раз нет!

– Объясните мне это, Таточка. Я не совсем понимаю.

– Это, Женя, не объяснить.

А если бы эта грациозная гибкая фигура, этот страстный и нежный рот, эти глаза принадлежали мне? И «тот» стоял там, на арене, стала бы я колебаться? О нет, ни секунды!.. Тигр!

С этим идиотом Андрюшкой вышла сегодня сцена. Он свалил мой этюд на песок, а когда я сделала замечание, он наговорил мне кучу дерзостей и, не потрудившись даже поднять подрамник, ушел в комнаты.

Катя и мать, несмотря на мои просьбы, пошли за ним – и теперь там бурная сцена. Мне ужасно жаль этюда, ну да ничего, напишу другой... Я теперь все время в отличном настроении. Жизнь так хорошо наладилась, голова свежа, через три недели приедет за мной Илья, и я чувствую, как последние остатки моей дури рассеются, аки дым! Нет, право, это был презабавный эпизод в моей жизни.

Пишу письмо Илье, и так хорошо и спокойно у меня на душе, тихо-тихо, немного грустно. Мне так хочется видеть Илью, и я ему пишу об этом.

Я оборачиваюсь на скрип двери – на пороге стоит Андрей. Я удивленно смотрю на него.

Он, весь красный, обдергивает свою блузу и говорит дрожащим голосом:

– Меня прислали к вам просить извинения... Мама этого хочет... Для мамы...

– Вот и прекрасно. Я нисколько не сержусь на вас, – говорю я весело.

– Это мне все равно, сердитесь вы или нет. Я прошу извинения только для мамы, а до вас мне нет дела.

– Отлично и это, – отвечаю я и снова сажусь за письмо.

Он делает шаг в комнату, дергает блузу и смотрит на меня расширенными злыми глазами, на лбу у него вздулась жила.

– Ну теперь вы все сказали? – говорю я. – Идите себе с Богом и запирайте дверь, а то сквозит.

– Я вас ненавижу! – вдруг кричит он не своим голосом.

– Да за что же? – спрашиваю я невольно.

– Потому что вы гордячка, кривляка! Вы нарочно делаете вид, что не замечаете меня, моей ненависти к вам! – делает он ко мне несколько шагов. – Вы относитесь ко мне, как будто я не человек, а муха какая-то, насекомое, на которое и внимания не стоит обращать! – истерически кричит он.

– Андрюша, Андрюша, голубчик, простите меня, пожалуйста, – стараюсь я успокоить его, – право, я не думала, что вы такой самолюбивый!

Я кладу ему на плечи руки и хочу поцеловать его. Вдруг он схватывает меня и опрокидывает на диван – руки давят мои плечи, неприятный запах коломянки и чего-то детски-кис-

лого обдаёт меня. Я отталкиваю его изо всей силы, и он валится на пол. Я поднимаюсь на ноги и от злобы и отвращения не могу говорить.

Он вскакивает с пола, смотрит на меня растерянно и бросается к дверям. Я слышу, как он бежит по лестнице в свою комнату и хлопает дверью. Пью воду большими глотками.

– Экая дрянь, мерзость, сопливый мальчишка! – шепчу я.

Но злость и волнение понемногу проходят, инцидент кажется мне таким глупым. Но все же это ужасно неприятно. Марье Васильевне обязательно надо сказать. Это ее расстроит, да делать нечего – такие истерические субъекты иногда кончают самоубийством... А потом будут говорить: «Это она довела юношу, она сгубила молодую жизнь!» А вот я этой «молодой жизни» и не замечала до сих пор. Даже в голову не приходило! Мне все равно, что будут говорить. Даже если застрелится такая истерическая мразь – потеря для человечества небольшая, но это брат Ильи.

Что если... Фу, может быть, он теперь вешается?

Я быстро поднимаюсь по лестнице, прислушиваюсь – тихо. Приотворяю дверь. Ну, конечно, все по порядку: пишет что-то у стола, а на столе револьвер! Ах ты, сволочь! Я быстро вхожу и окликаю его.

Он вскакивает и хватается револьвер.

– Уйдите! Уйдите сейчас, а не то я и вас застрелю! – кричит он пискливо.

– Дайте мне, пожалуйста, немецкий лексикон, – говорю я

спокойно.

– Что?!

– Немецкий лексикон. Да нет ли у вас задачника Малинина и Буренина?

– Нет, у меня Евтушевского, – отвечает он растерянно.

– Ну давайте хоть Евтушевского, мне очень нужно. Машинально он кладет на стол револьвер и идет к этажерке с книгами. Быстро хватаю револьвер и прячу в карман. Заметив мое движение, он бросается обратно.

– Отдайте! Отдайте сейчас.

– А вы присядьте и потолкуем, Андрюша, – говорю я серьезно. – Нельзя же быть такой истерической девчонкой, такой тряпкой!

– Я тряпка? – взвизгивает он. – Отдайте револьвер!

– Конечно, тряпка, слабая, безвольная. Чуть что – стреляться.

– А вы полагаете, что я могу жить после всего, что случилось?

– Да что случилось-то? Сущие пустяки! – говорю я спокойно.

– Пустяки? – тянет он, совсем по-ребячьи разевая рот.

– Конечно, пустяки. Вам нужно женщину, а в доме я одна посторонняя. Пойдите к женщинам и увидите, как рукой снимет.

– Но... но... Подло покупать женщину за деньги!

– А еще хуже бросаться на первую встречную.

– Господи! Да неужели нельзя обойтись без этой мерзости? – падает он на стул и закрывает голову руками.

– Конечно, можно. Не надо только постоянно думать об этом. Если будете постоянно читать книги о том, как «сохранить себя в чистоте», – указываю я на несколько брошюр, лежащих на столе, – так невольно наведете себя на все эти мысли. Знаете, как в одной татарской сказке, человек не должен был думать об обезьяне, ну, вот он только и делал, что думал. А вы лучше побольше работайте физически, сделайте гимнастику, читайте только научные книги – и проживите спокойно до тех лет, когда можно будет жениться. Вы такой умный, такой развитой, – бессовестно льщу я ему, – как вы не понимаете, что жизнь человеческая – все же довольно дорогая вещь! А если она вам не дорога, то отдавайте ее за дело посерьезнее, чем истерический припадок!

Я замолкаю. Он сидит, уткнув нос в руки, сложенные на столе.

– Мне ужасно стыдно перед вами, – чуть не со слезами бормочет он.

– Да не стыдитесь, Андрюша! Было бы действительно стыдно, если бы на моем месте была молоденькая, невинная девушка. Вы запачкали бы ее воображение, она могла бы заболеть от испуга. А на меня, право, никакого впечатления не произвело. Мне даже кажется, что теперь, Андрюша, мы сделаемся с вами искренними друзьями.

– Да! да! – вдруг протягивает он со слезами мне обе ру-

ки. – Простите меня, я...

– Тс-с! Как будто ничего не было. Пойдем лучше к маме и скажем, что мы теперь друзья.

– Да, да, пойдите, какая вы славная... Я теперь буду больше гулять, работать! Знаете что? – говорит он, спускаясь по лестнице, – я поеду на лесопилку к Чалаве и буду там работать.

– Какая хорошая мысль! Вы узнаете условия жизни рабочих не по книжкам, а на деле. Даже вот что... – раздуваю я его затею. – Записывайте в дневник свои впечатления. Не смущайтесь, если иногда факты покажутся мелкими. Рабочий вопрос так назрел, что в нем нет мелочей – все крупно!

«Ой», – останавливаю я себя, но, вспомнив возраст моего собеседника, продолжаю с прежним жаром:

– Если я не ошибаюсь, о жизни рабочих на лесопильнях Кавказа ничего не было за последнее время в текущей литературе. Илья выправит ваши записки, и их можно будет напечатать.

– Ах, да... Вот идея-то!

Мы жмем друг другу руки и входим в гостиную. Марья Васильевна сидит задумчиво у окна.

– Мама, – говорю я нежно, я в первый раз называю ее так, – мы с Андрюшей помирились и теперь друзья!

Она поднимает голову.

– Полюбите и вы меня хоть немножко, за Илью, – шепчу я, еще нежней обнимая ее.

Она вздрагивает, хватая мою голову и прижимает к своей груди. На глазах ее слезы. Победа! Полная победа!

Андрей смотрит на нас и вдруг, уткнувшись в колени матери, ревет. Ревет, как самый маленький ребенок. Как теперь хорошо все идет.

Между Марьей Васильевной и мной лед разбит, Андрей, уезжая на завод, даже поцеловался со мной, а до отъезда два дня служивал мне и Жене: рвал для нас цветы, собирал ежевику, дурачился и хохотал. Мы вели длинные разговоры.

– Какой ты стал славный, Андрейчик, – удивлялась Женья, – просто не узнаю тебя!

Она была в недоумении, а Андрей толкал меня локтем, и мы смеялись. Он был ужасно доволен, что у него есть тайна. Перед отъездом он объявил мне, что все-таки влюблен в меня, но, конечно, платонически и никогда больше не заикнется о своей любви, которую поборет. Я удержалась, не фыркнула от смеха и сказала что-то подходящее к случаю. Мы расстались, ужасно довольные друг другом.

Сидим все вокруг жаровни в саду и варим варенье. Все мы растрепанные, красные, сладкие. Женья гоняется по саду за своей подругой Липочкой Магашидзе, уверяя, что хочет дать ей самый сладкий поцелуй. Липочка только что мазнула Женю по лицу ложкой с пенками от варенья, и весь рот и щека Жени вымазаны.

Женья, крупная, красивая, ловкая, бегают скорее, но ху-

денькая, маленькая Липочка, похожая на бронзовую статуэтку, очень увертлива: выскальзывает у Жени из-под рук и смеется гармоничным смехом. Они носятся по саду, как две большие бабочки, одна белая, другая желтая.

Смех, чудный, молодой смех! А вверху синее небо, кругом цветы. Написать бы все это! Жаль, что нельзя изобразить этот звонкий смех! Мне он представляется яркими спиральными линиями из золотистых солнечных бликов. Ах, девушки, девушки, как вы хороши в эту минуту, сами того не зная!

– Ну и аппетит у вас, Таточка, – говорит Марья Васильевна. – Да не ешьте вы хоть вареников! А то после соленой рыбы – гусь, а после гуся вареники, да еще на ночь. Что с вами будет!

– Не виновата же я, когда все так вкусно! – оправдываюсь я.

Я люблю поесть, сознаюсь откровенно.

Я отвратительная хозяйка – это правда. Деньги у меня летят неизвестно куда, прислуга избалованная и ленивая, хотя всегда хорошенькая и нарядная, но кухарка я отличная. Илья всегда уверяет, что человек, не признающий моего художественного таланта, может остаться моим другом, но тот, кто усомнится в моих кулинарных способностях, – враг на всю жизнь. И правда, я почему-то очень горжусь, что я «кухарка за повара».

Марья Васильевна составляет меню на завтра из таких блюд, которые я не люблю, чтобы я хоть денек попостилась

немножко.

Шаги на террасе. Женя срывается с места и летит к дверям. В дверях Сидоренко. Руки его полны свертков и коробок. Мы его шумно приветствуем. Женя его тормозит.

Он разронял свертки, говорит что-то несвязное, что пришел на огонек, а то бы не решился беспокоить нас, только что приехал и не выдержал, так хотелось видеть Марию Васильевну. Заметно, что он ужасно рад нас видеть.

Женя разворачивает пакеты, восхищается чувяками, делает выговор за тесемки, ест привезенные конфеты и расспрашивает об оперном спектакле – все это сразу, так что получается:

«Ах, как они красивы и удобны!.. Я вам говорила, что надо восемнадцать аршин... Хорошо она пела?..

Какое соловьиное горло... И пошире – гораздо шире... Это с ликером... А баритон и тенор хороши были?.. Если запачкаются, я вычищу их бензином... Хочешь шоколадную тянушку?»

Я повторяю Жене ее слова, она хохочет и вспоминает о нотах. Сидоренко хватается за голову – ноты-то он забыл.

Женя не хочет ждать завтрашнего дня и посылает повара Михачо за нотами.

– Вы сейчас, сейчас споете!

– Какой у меня голос с дороги! – говорит Сидоренко.

Но Женя неумолима, она открывает рояль, зажигает свечи.

Мария Васильевна уходит спать.

Я выхожу на террасу и сажусь в качалку.

Сидоренко выходит за мной. Оживление его прошло, он мрачен.

– Что это, Виктор Петрович, вы вернулись из Тифлиса невеселы? Дела?

– Нет, Татьяна Александровна, все дела в порядке, и я очень рад, что вернулся. Я так страшно соскучился, так хотел скорей видеть... вас, всех. Мне ужасно вас всех не доставало... Скоро приедет ваш муж?

– Илья Львович? – поправляю я. – Недели через две. Это один из моих капризов: я ужасно не люблю почему-то, когда сожительницы говорят: «Мой муж».

Это меня бесит. Действительный статский называет себя генералом.

Раз я даже обиделась на Илью, когда он меня кому-то представил как свою жену. Это было в начале нашей связи.

– У меня есть свои имя и фамилия, Илья. Ты разве стыдишься меня?

– Таня, бог с тобой, – всполошился он, – это я для тебя...

– Значит, ты думаешь, что я стыжусь, что люблю тебя. Мне гораздо неприятнее фигурировать в непринадлежащем мне звании. Я не люблю афишировать наши отношения, но есть люди, не прощающие этого, – и я не желаю их обманывать, воровать их расположение.

– Ну, Таня, неразвитые люди...

– А может быть, щепетильно нравственные.

– Фарисеи.

– Зачем? Будь справедлив, Илья. Я себя считаю твоей женой. Я знаю, что я больше тебе жена, чем многие жены своим мужьям, но это не мое звание, вот и все. Я же не называю себя графиней Кузнецовой.

Сидоренко пристально всматривается мне в лицо. Что он хочет, чего ему нужно от Ильи?

– Татьяна Александровна! – вдруг прерывает он молчание. – Отчего это я вас боюсь?

– Меня? Вот забавно!

– Мне иногда хочется задать вам несколько вопросов, и я боюсь...

– Я просто сегодня не узнаю вас, Виктор Петрович! – смеюсь я. – Вас, верно, укачало на пароходе.

Женя вбегает на террасу со свертком нот. Ее личико прелестно в своем оживлении. С каким восторгом она перебирает ноты! Она любит и понимает музыку: ей бы готовиться в консерваторию – она прошла хорошую школу у матери, но Катя решила, что Женя поступит на педагогические курсы.

Не хочу ссориться с Катей, но Женю я ей не уступлю – грешно зарывать талант.

– Григ – это ваше, Таточка. «Жаворонок» Глинки – мой. Рахманинов – новое? Это вы сегодня же споете, Виктор Петрович! Что это, вальсы Шопена?

– И прелюдии, и баллады! Это мой вам гостинец, Женя

Львовна!

– Вы умница! Просто не знаю, как и благодарить вас! Ставлю вас отныне в кавычки! – кричит Женя в восторге. – А это что? Романс для меццо-сопрано: «Любовь – это сон упоительный» Павлова.

– Что ж это я совсем забыл вам рассказать! Это, Татьяна Александровна, вам посылает Старк.

Я точно срываюсь и лечу с отвесной ледяной горы. Я, верно, ослышалась?

– Какой Старк?

– Да разве вы не помните? Мы тогда из-за него поссорились на пароходе. Ваш спутник до Москвы. У вас еще рисунок с него.

Болтун, глупый болтун, неужели он рассказал ему про рисунок?

– Ничего не понимаю, Виктор Петрович, – говорю спокойно, сама восхищаясь своим тоном. – Как же он узнал, что мы с вами знакомы?

– Да мы говорили о вас.

– Не понимаю, как вы договорились до меня?

– Очень просто. Я с ним столкнулся в Hotel Oriental. Сели вместе обедать. Во время обеда мне подали ваше письмо. Я так обрадовался! – Читаю и хохочу, как вы описываете вашу поездку в Ольгинское и толстого духанщика, ухаживающего за Женей Львовной... Женя Львовна, он был с усами?

– С бородой!

– Слава богу, а то я стреляться хотел. Ну, Старк заинтересовался, чего я смеюсь, я дал ему прочесть ваше письмо, потом...

– Вы дали прочесть мое письмо?

– Да отчего ж не дать?

– Если бы я знала, Виктор Петрович, что вы даете читать мои письма первому встречному, я бы не писала вам. Я писала только для вас! – говорю я с негодованием.

Виктор Петрович с удивлением смотрит на меня, и его удивление переходит в радостную улыбку.

– Голубушка, Татьяна Александровна, простите, но, право, я не знал, что это вам будет неприятно. Тогда, на пароходе, я был несправедлив к Старку. Он славный малый, я даже раскаиваюсь, что тогда посплетничал на его счет. В Тифлисе он, как собака, работал, целый день ходил пешком, ездил верхом по лесам, то в Боржом, то... Только по временам мы и виделись, болтали... Он славный малый.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.